

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Иванович Эртель

От одного корня

«Дождь лил не два, не три дня, не неделю, наконец, а целых два месяца. Казалось, не было конца ему. Наступил уж ноябрь, затем и он стал подходить к концу, а не было и признаков зимы. День и ночь низко ползли хмурые тучи над грязными, унылыми полями, в воздухе стояла какая-то гнилая, неприятная теплынь, и с утра до вечера моросил мельчайший дождь. Земля переставала всасывать в себя воду. Дороги казались уж не дорогами, а сплошными узкими и бесконечно длинными болотами, по которым шагу нельзя было ступить...»

Александр Иванович Эртель

От одного корня

Невесело живется на глухом, степном хуторе в позднюю, непогожую осень. Хлеб уж обмолочен, а пожалуй продан и отпущен, работ по хозяйству никаких нет, или и есть, да чересчур незатейливые — так, около двора больше: защитить хлевы камышом, прикрыть кое-где крышу, — вот и все. Сиди в четырех стенах, читай — если есть что, думай — если есть об чем, спи... А когда надоест все это, выйди за хутор да оглядывай широкий степной простор: не чернеются ли где, на далеком горизонте, лошадки, не ползет ли кто из знакомых разделить скуку... И — боже мой, что за радость обнимет хуторянина, если и в самом деле приползет какой-нибудь сосед!.. Будь тот сосед хоть ненавистнейший человек, он смело может рассчитывать на радушный прием у одуревшего с тоски и скуки хозяина.

Лет шесть тому назад мне пришлось на своей коже испытать всю прелесть поздней осени, да какой осени!.. Дождь лил не два, не три дня, не неделю, наконец, а целых два месяца. Казалось, не было конца ему. Наступил уж ноябрь, затем и он стал подходить к концу, а не было и признаков зимы. День и ночь

низко ползли хмурые тучи над грязными, унылыми полями, в воздухе стояла какая-то гнилая, неприятная теплынь, и с утра до вечера моросил мельчайший дождь. Земля переставала всасывать в себя воду. Дороги казались уж не дорогами, а сплошными узкими и бесконечно длинными болотами, по которым шагу нельзя было ступить. Скирды немолоченного хлеба и ометы не чисто вымолоченной соломы покрылись густыми зелеными всходами: поросли. Озимы начали подопревать... А зима словно сгинула...

Невесело жилось в деревне, а уж про мой заброшенный в степи хуторок, отстоящий от ближнего поселка более четырех верст, и говорить нечего.

Проснешься утром, по стеклам маленьких окон методично стучат дождевые капли, в комнате какой-то неприятный, кислый полумрак, — ни свет, ни тьма, — ну, думаешь, должно быть еще рано... Нет, какой там рано! — уж стрелка на часах приближается к десяти... Глазам верить не хочется...

— Семен! или уж поздно? — тоскливо взываю я.

— Да уж не рано, Николай Василич. У меня и самовар давно готов — два раза уходил, — отвечает Семен из-за перегородки.

— Ах ты боже мой!.. А дождь не перестал? — спрашиваю я, хотя и самому мне отлично видно, что по стеклам беспрерывно стекают дождевые капли, но так уж само собой спросилось: авось, мол, это мне только кажется, что на дворе ливень, а на самом-то деле его и нету, — может быть, с пелены, мокрой от вчерашнего дождя, льется вода по стеклам...

— Какой вам перестал! — сокрушительно докладывает Семен, — всю ночь-ноченскую шел, а с утра-то словно еще пуще... И откелево только он берется, прости господи!.. Все ометы насквозь пролило...

— Иль глубоко?

— Мы, давишь, еле дорылись до сухого-то...

— А ведь это плохо!

— Чего уж!..

— Вот то-то низко клали-то... Говорил ведь я — повершить бы еще разок, так нет: больно высоко, таскать носилки тяжело!.. Вот тебе и тяжело...

Семен энергично гремит стаканами. По-видимому, разговор становится ему неприятен. Ну и ладно...

Пью чай и курю, курю и хожу по своей небольшой комнатке, хожу и думаю: «Хорошо бы приехать кому теперь...» И представляется мне, что, пожалуй, кто-нибудь и приедет... Кому бы приехать? Может, Егор Василич соберется и притащит с собою гитару и карты?.. Славно бы время провели... Споем мы с ним меланхолическими голосами: «Среди долины ровныя» или «Виют витры» под печальное тренканье гитары, затем, пожалуй, и удалую начнем: «Ах вы сени мои...» или что-нибудь подобное, и по обыкновению не кончим: как-то не ладятся у нас веселые песни... Поговорим о том, что когда же это, мол, пойдут морозы и наступит зима, поскорбим о судьбе несчастных озимей, о бездорожье, о вздорожании бакалейных закусок... Позеваем, поздыхаем сокрушительно, закусим чем бог послал, а на сон грядущий сыграем по маленькой в преферанс с болваном, и по окончании игры аккуратно запишем должок, мелком на притолке. На наличные мы не играем

с Егором Василичем: человек он расчетливый и копейку бережет...

А то и Андрей Захарыч заедет и выложит новости со всего уезда. Расскажет, почему танюхинский целовальник, заведомый вор и грабитель, от острога избавился, свяжет причину этого избавления с новой шляпкой председательши Лупоглазовой или с воронным битюгом, недавно приобретенным самим председателем. Сообщит новый анекдот о Храпоткине, местном помещике и женихе, замечательном своею глупостью и громадным животом... Передаст свежеиспеченную остроту исправника Демокритова или смехотворнейшую выходку нашего enfant terrible [1] Микульского... Не забудет и про то, что мать протопопица тройню родила, в Головлеве на крестинах поп костью подавился, а в Ольховатке дьякон с женой подрался и ради этой причины в набат ударил, чем несказанно всполошил все село... Все, все расскажет! И опять-таки славно проведем время...

Немудрено, что и Семен Андреич приплетется и уж непременно захватит новые газеты, — журналами он пренебрегает и никогда

их не выписывает, разве когда с картинками... Ну, уж это человек умственный и о протопице говорить не станет. С ним мы и Мак-Магона продернем и прохвосту Гамбетте надлежащую встрепку воздадим... Не забудем и австрийского премьера и железного канцлера... Примем во внимание и министерство новое в Турции и волнения в Герцеговине. Как? Что? Почему? Чем кончится?.. Одним словом, все содержимое доброго десятка газетных номеров с подобающим глубокомыслием взвесим, значение этого содержимого для судеб Европы вообще и России, в частности, определим и о будущем помечтаем, причем сладко вздохнем и сплюнем, как обыкновенно делается, когда мерещатся бифштексы на голодный желудок... Поскорбим слегка и о настоящем, однако с достодожной осмотрительностью и с надлежащей примесью упования. Вообще славно проведем время...

А что, если все трое?.. Что, если?.. Вот бы... Я радостно вздрагиваю и начинаю усиленно ходить и курить... Того гляди приедут... Отчего же им и не приехать?..

— Эка льет-то, батюшка! — вздыхает Семен

за перегородкой. «Гм... льет... А ведь и в самом деле льет!» И я гляжу упорно в окно, а за окном будто какие нити тянутся сверху, и нету тем нитям конца. Очевидная нелепость моих предположений встает предо мною воочию... Радостное ожидание сменяется какою-то ленивой злобою, и опять хожу и курю, хожу и курю... Туман в глазах, туман в голове, во рту какая-то горькая, вяжущая скверность, на сердце — тоска... А дождик — тук-тук, тук-тук... А маятник тик-так, тик-так... И главное — все это постукивает не спеша, размеренно, хладнокровно... Именно хладнокровно, как будто так думая: к чему спешить, торопиться, времени у нас довольно на то, чтоб свести с ума любого миндальника-оптимиста... О господи!..

С Семеном бы, что ли, поговорить?.. Да об чем с ним говорить?.. Сгорели «они» до тла в позапрошлом году. — Знаю... Мальчишку пятилетка у него лошади задавили. — Знаю... Жена к Чумакову приказчику сбежала. Знаю... Мир целовальнику надел отдал в аренду за недоимки — знаю... Чахотка у него развивается. Работать он почти не может. —

И, это знаю... Все знаю... И не о чем мне говорить с Семеном.

Порывисто беру какую-то книжонку и начинаю читать. Нет — темно. То есть оно, пожалуй, и не совсем темно, читать-то и можно бы, но... О господи!..

С твердою решимостью, вероятно несколько удивившею Семена, преспокойно подшивавшего подметку к старому сапогу, я напяливаю кожаное пальто и выхожу за хутор. Дождь как будто поутих; по крайней мере он уж не льет, а только моросит, то есть стоит в воздухе в виде мельчайшей пыли... Дует влажный, пронизывающий ветер, наклоняя к земле мокрый бурьян на межах, щетиня соломенную крышу хуторских построек... До далекого подернутого легким туманом горизонта тянется ровное, как скатерть, грязно-желтое, печальное, неприветное поле... Ни деревушки, ни кустика, ни бугорка... Все это появляется на горизонте только в ясные дни.

Около самого хутора пролегает неглубокая ложбина, в которой шумит и трепещется мокрый камыш. Невдалеке, в этой же самой ложбинке, морщится маленькими грязноватыми

волнами узенький прудок, запруженный полуразмытой плотиной, которую только, кажется, и сдерживают своими корнями молодые ветелки, сиротливо распростирающие по сырому воздуху свои мокрые, голые ветви... У пруда — небольшой лужок с поблекшей травой, низко прибитой к земле, долгими, непрерывными дождями.

И над всем этим нескончаемой вереницей тянутся угрюмые, синеватые тучи...

И так-то изо дня в день, изо дня в день!

В один из таких сумрачных дней, когда я только что начинал пить свой утренний чай, совершенно неожиданно скрипнула дверь, и за перегородкой послышался тихий голос:

— Дома хозяин-то?

— Где ж ему быть? — вопросом же ответил Семен.

— Кто там? — спросил я, внезапно воспрянув духом.

— Мы, Миколай Василич, — вваливаясь в комнату, ответил мне неожиданный гость. Это был мужик из соседней деревушки Березовки, Василий Мироныч. Я, конечно, обрадовался ему, как только может обрадоваться че-

ловек, почти обезумевший со скуки. Мы сейчас же вплотную подсели к самовару и завели длиннейшие разговоры. Но прежде расскажу, что за мужик был Василий Мироныч.

Ему было лет за пятьдесят. Благообразное, умное лицо, обросшее большой светло-русой бородой, степенная тихая речь, открытый взгляд серьезных серых глаз — все это располагало в его пользу, заставляло если не чувствовать к нему особой симпатии, то уважать его, а главное — верить ему, его всегда строго обдуманном и непременно имеющим какое-нибудь практическое значение рассказам, советам и рассуждениям. Именно — практическое значение, потому что все его рассказы, советы и рассуждения вертелись исключительно на почве непосредственной, так сказать осязательной, пригодности. Все, что не соприкасалось с этой пригодностью, — не пользовалось его уважением. Оно было либо лишнее и вообще «блажное», либо такое, о котором нам, темным и грешным людям, говорить не след. Одним словом, он был не из тех, которые, мечтая о журавле в небе, выпускают синицу из рук. Мне даже всегда поче-

му-то думалось, что и эта пословица, а также и много иных в таком же духе, вроде «своей рубашки» и «всяк за себя», — выдумана и пущена в ход непременно Василием Миронычем. Не этим, не березовским, конечно, а другим, который, может быть, во времена удельных междоусобиц⁽¹⁾ проживал где-нибудь около Твери либо Рязани...

Вот за эту-то «синицу» я хотя и уважал Василия Мироныча, но любить его не мог, — просто инстинктивно не мог любить... Странно, что не я только один относился так к Василию Миронычу. И на миру его уважали, даже отчасти побаивались, почти всегда слушали, но любить опять-таки не любили.

— Каков мужик Василий Мироныч? — спросишь, бывало, какого-нибудь березовского обитателя, и обитатель, не задумываясь, ответит;

— Мужик умнейший... Обстоятельный мужик...

Другой, пожалуй, прибавит: «ума — палата», «деляга», «кремень», даже «справедливым» мужиком назовет, но никогда не отзовется как о «душевном человеке», о «мир-

ском». Купцы и помещики почему-то звали его «серым министром».

Мужик он был зажиточный. Богаче его, кажется, не было в Березовке: впрочем, нужно добавить, что быть первым богачом в Березовке значило не очень много. Было у него штук пять лошадей, — правда, очень породных, местной битюцкой породы, — две или даже три дойных коровы, с полсотни овец, рига изба-двойня. Были и деньжонки, хотя, конечно, по-нашему очень небольшие — сотни три, четыре, — но по крестьянству немалые. Он каждый год снимал у меня десятин по семи под посев, а плательщиком был исправным. Были в нем и торговые замашки. Так, недавно выстроил он рушку^[2], а к ней пристроил и помольный постав. Мельницы водяные от нас не близко, а потому дело его пошло хорошо. При постройке рушки он был сам за мастера, а уж откуда научился этому мастерству, требующему немалых познаний, сказать положительно не могу... Слышал я как-то, что жил он исключительно для этой выучки где-то на мельнице простым работником, но жил очень недолго. Я думаю, что по-

ставил он рушку и пустил ее в ход только с помощью своей необыкновенно острой сметки и какой-то врожденной способности к математическим вычетам и расчетам.

Впрочем, слово «необыкновенный» я, пожалуй, употребил неправильно. В среде торговых мужиков, мещан и тому подобных людей, которых принято называть теперь всех вообще «кулаками», эта самая сметка и эта способность к чисто математическим вычислениям встречаются очень часто.

— Вот беда с осенью-то, Василий Мироныч!

— Что поделаешь — божеское произволение!.. — сокрушительно вздохнул Василий Мироныч, отирая чистым ситцевым платком вспотевшее лицо.

— Зеленыя-то, кажется, подопрывают...

— Как не подопрывать, известно — подопрывают... Кабы знато, сев-то попоздней бы начать...

— Да я и не знаю, Василий Мироныч, к чему спешили? Ведь вы, вон небось, еще до первого спаса ржи-то свои отсеяли...

Василий Мироныч сдержанно улыбнулся.

— Нешто угадаешь?.. Известно так огады-

вали: пораней посеешь, зеленыя-то будут кустистей, а по заморозкам скотине корм... Вот вышло-то не по-нашему... Меня и то попрекают севом-то, — добавил он.

— Кто?

— Свои, мужики. Мы, бывало раньше успе-нья не севали... Так уж исстари... А ноне, как на грех, я и начни до первого спаса, ну, за мной и все... А теперь вот... Просто горе!..

— Ну, чем же ты-то виноват!

— Поди ж ты вот!.. А тут, как на смех, Трофим... знаешь?

— Кузькин что ль?

— Ну, ну... Так он обапол Ивана постного отсеялся — как, говорит, старики севали, так и я, — не дураче нас были...

— По его и вышло?

— По его и вышло! — засмеялся Василий Мироныч, — зеленыя-то у него еле-еле землю закрыли, ну, и ничего — не преют... Мужики-то и сбились на его сторону... Известно, что мужик? Мужик — дурак!.. Куда ветер потяня туда и он...

Было заметно, что Василий Мироныч засел на своего любимого конька. Он хотя и не горя-

чился, но говорил с заметным одушевлением; я, конечно, старался почти не прерывать его: благо разговорился, что с ним бывало не часто.

— И вот я тебе скажу, Миколай Василич, не дай-то господи в мирские дела встревать... Окромья худого, ничего не выйдет... Одно огорчение...

— Да какое же огорчение, Василий Мироныч? Что-то я не соображу...

— Как какое? Так скажем — один убыток... Пытали мы эфто!..

Василий Мироныч опять отер пот, обильно проступавший на его высоком лбу, и попросил налить еще стаканчик.

— Годков десять, пожалуй, будя, еще ты на хуторе-то на эфтом не сидел, и занеси меня нелегкая в ходоки... поверенные то ись, — поправился он. — И что я греха претерпел, скажу тебе — страсть!..

Я недоумевающе взглянул на него:

— Ну, уж и греха?

— А ты как думал?.. Одно слово — склыка... Возьмем, к примеру, подводу. Надоть куда по мирскому делу ехать — подводы нет!.. Бьешь-

ся, бьешься... И к старосте-то, и к десятскому, — нет тебе подводы, да и шабаш!.. Иди, мол, к Прохору, его черед... А к Прохору придешь, — не мой черед, говорит, я онадысь свой отбыл: к становому сотского возил... Ступай к Аношке!.. А у Аношки, глядишь, одна кобыла, да и та ожеребилась только... Что ты поделаешь?.. А уж чтоб за Аношку кто поехал — и в уме не держи!.. Не такой народ... Да так-то ходишь, ходишь, бывало, по порядку, да ни с чем и воротись... Ах, пусто бы вам!.. Ведь раз, что ты думаешь, так и отмахал на своих на двоих до города!

— Это пятьдесят верст-то?..

— А как ты думал!.. Вот он, мир-то...

— Да ты бы уж свою-то лошадь?..

— С чего ж эфто убыточиться-то? — с легким оттенком обидчивости возразил Василий Мироныч. — Это, надо прямо сказать, расточителем быть свою добра... Ты ее оторвешь, лошадь-то, от работы — ан рупь... Да еще кое время... А то и целковым не отделаешься... Их, целковых-то, на добрых людей не напа-сешься!..

Василий Мироныч попросил налить еще

стаканчик.

— Аль теперь возьми ты сходку... тоже мир собрался... мир, — повторил он иронически, — а я так полагаю, один эфто беспорядок и больше ничего... Теперь мы с тобой... аль купцы где соберутся... по делам. Один говори, другой слушай... А там другой заговорил... На мой сгад кабыть так. Теперь сходка... Кто во что горазд!.. Тот свое горланит, тот свое... Рази это порядок?.. Одна смута...

Я вполне согласился с ним.

— А уж поналягут в чем — сполняй!.. У тебя, можа, дела — посев там на стороне аль коммерция какая торговая, а ты с бадиком^[3] по окнам ступай: десятским аль становому самовары ставь; да эфто еще не беда — хорошему человеку услужить, — мгновенно поправился Василий Мироныч, — мир, мол, порешил — скоряйся!.. То ли вот купецкое дело! — ни тебе мир, ни тебе...

— Да ведь и у них и общество, и выборы, и всё...

— Что общество!.. Сравнил... У них так: захотел ты там, ну, к примеру, в головы, аль куда, ну общество... А не захотел — живи себе

особняком... Заплатил там, что причитається, и свят... Ни ты кого, ни до тебе никому делов нету... А ведь тут, ты то подумай, — связал.. Ты хочешь на гору, а самое это общество-то тебя за ногу, да за ногу... Никакого антересу нету... Ну, возьми теперь землю. Кабы особняк-то у меня был, что мне?.. В раз бы я ее и навозцем угодовал, земельку-то, и ветелочек бы насадил кое место, а посеял-то бы чем хотел... Ну, а теперь — шалишь! Я вот в позапрошлом году гречишки малость посеял, — так, осьминник, — так что ж ты думаешь, ведь так и сгинула дуром!..

— Вот тебе на! Как же это она сгинула?

— А вот распорядки-то наши мужицкие всё... мир-то эфтот... общество-то...

Василий Мироныч даже рассердился.

— Да что же с гречихой-то сделалось?

— Скотина разбила...

— А пастухи-то чего ж глядели?

— А пастухам что?.. Кабы свое, ну — так...

Да что пастухи... Их тоже винить нечего... Одно дело — не углядишь, особливо свинью, а другое... Вольно ему, говорят, гречиху сеять, коли во всем клину ее нет... ради его осьмин-

ника не прокляжаться тут... Что поделаешь-то? — Мир!.. А я еще, признаться, гречишки-то у Чумакова, Праксел Алкидыча, две мерки выпросил на семена... Уж такая-то ядреная была, такая-то ядреная!..

Василий Мироныч легонько вздохнул и опрокинул верх доньшком порожний стакан.

— Э-э... ты что же это, любезный?.. Что, Миколай Василич, признаться, распарился — невмоготу...

— Ну вот там, распарился!..

Я опять стал наливать ему.

— Ну что с тобой делать, чай пить — не дрова рубить... Наливай, видно, еще!..

— Вот ты, Василий Мироныч, все толкуешь, что ваш мирской порядок не хорош, особняк лучше, мол... Ну, как же ты тогда хоть со скотиной-то обошелся-бы?

— Это ты насчет чего? Насчет кормов, что ль?..

— Да. Теперь вот гуляет она стадом по всей мирской земле, ей и способно, а как же она будет вертеться на пяти-то десятинах, на особняке-то?

— Зачем вертеться... Да я у тебя же корма

сниму... Были бы деньги, а то кормов хватит...
Еще повольней мирских.

— Ну, ты, положим, снимешь, а другой кто? Ему, может, не на что снять-то? Василий Мироныч удивленно взглянул на меня.

— Заработает... запашет там, аль еще чего сработает...

— Заработок на другое нужен... А вот на корма-то нету?..

— А кому какое дело? Наживи... Кто не велит... Я ведь нажил, ну и он наживи...

— А может, у него в башке-то поменьше твоего, — нажить-то?.. Иль счастья ему нет...

Василий Мироныч окончательно рассмеялся.

— И вздумал что, Миколай Василич!.. Ах-ха-ха!..

Теперь, по-твоему, выходит, ежели, значит, у тебя есть, а у меня нет, так пополам?.. Ах-ха-ха!.. Ну, шутник!.. — Василий Мироныч даже блюдечко с чаем опустил на стол, чтоб не обжечься. — Это, значит, ты будешь спину мозолить, а я спать до отвалу, и чтоб заработок поровну?... Ай да Миколай Василич, ловок...

Василий Мироныч так непринужденно и добродушно смеялся, что и я не утерпел — тоже засмеялся.

— Ну, вы-ы-думал...

— Постой, постой, Василий Мироныч!.. Погоди смеяться... Ты что это так, задаром, с бухта-барахта нищему подаешь? Может, он спит себе, когда ты ему на краюху хлеба-то вырабатываешь, спину мозолишь?

Василий Мироныч сразу перестал смеяться и отвечал мне уж совершенно серьезно:

— Это особь статья... то — старчик, а то...

— А ты ему что за работник, старчику-то?

— Нет, Миколай Василич, ты не туда ведешь... Ежели я старчику подам, это уж все одно, к примеру, как для души... спасенье и все такое... Тут совсем иное дело... Так сказать надо — божественное... Мы бога помним, и старчику завсегда с нашим удовольствием... Не разорит... Это ты, Миколай Василич, прямо надо сказать, не к делу...

Василий Мироныч принялся допивать оставленное было блюдечко.

— Теперь я землепашество совсем забросить хочу, Миколай Василич, после продол-

жительного молчания заговорил он, развязывая кумачный шейный платок и осторожно вешая его на спинку стула, — хочу маслобойку завести, да свиньенок набрать малость, в корм...

— Что ж, дело хорошее; выйдет ли толк-то? Говорят, с маслом плохие дела стали.

— Это верно, что плохие, — равнодушно проронил Василий Мироныч.

— А как плохие, так зачем же заводить? — удивился я.

Василий Мироныч снисходительно усмехнулся.

— Наше дело-то не то, Миколай Василич!.. Наше дело маленькое... Ну, а маленькое-то, пожалуй, и пойдет себе...

— Мне кажется, все равно: маленькое оно или большое, масло-то не самому есть... продавать надо, а оно вон дешево!..

— Зачем самим есть... Всего не поешь... — добродушно рассмеялся Василий Мироныч.

Во время смеха у него около глаз показывались мельчайшие морщинки, что производило очень приятное впечатление.

— Ты так теперь возьми — семя когда по-

спевает?

— Ну, известно, поздно.

— Ну, а подат гонят? В одно, почитай, время? Так ли я говорю?.. Значит, деньги мужику надуть... А маслобоек то у нас, вблизи нет, стало быть, сам товар выбирай, сам цену становь... подходит — наш, не гожается вези куда знаешь... А то ишшо как можно пристроить... Ну, известно, не с нашими капиталами. Можно загодя деньги выдавать под сами-то, особливо своим, деревенским...

Я напомнил Василию Миронычу пример соседа-арендатора, который, года три тому назад, завел маслобойню, и, несмотря на выгодную покупку семени, бросил ее, но Василий Мироныч не урезонился, хотя и не усмехнулся на этот раз.

— Это Егор-то Василич?.. Опять — иное дело... Человек он не деревенский, будь я на его месте, и не подумал бы маслобойку заводить... Потому по нонешним временам да ежели в эфтакоем деле круг большой, прямо надо сказать — пропасть!.. А по малости ежели, с осторожною, ну, она и ничего... Вот нашему брату мужику идет... Потому мы в се-

ле... Теперь хошь бы масло. Нешто я повезу в город-то его продавать — своим добром называться, как Егор Василич?.. Я его дома, по селу оченно даже много распущу, масла-то... Знамо — не на деньги, — в долг... А возьму-то опять не деньгами, а либо работой, либо се-мем, как барышней... А то добром своим кланяться!.. Они, известно, рады прижать нашего брата, купцы-то... Им это на руку...

Василий Мироныч окончательно разгорячился.

— Теперь возьмем Егора Василича... Куда он жмых девал? — Смехота... Коров выдумал кормить, чтоб молока больше давали... А мне что ее, корову-то, раскармливать, коли никакого антересу от эфтого нет?.. Шило на мыло переводить?.. Нет, шалишь! А купи он свинью, да купи-то опять-таки с умом, потрафляй, куда какая идет: коли к немцу, — на круглоту напирай, нужды нет, что невеликонька, в Москву ежели — бери крупную и чтоб не подлыжеватая была, а в Доброе аль в Лебедянь — опять иную... Вот и раскармливай ее, свинью-то! Свинья выручит... особливо по нонешним временам, ишь ее как нем-

цы-то подчишшают, успевай подавать...

— Да, немцы действительно цены на нее подняли; вот уж другой год, кажется, они к нам приезжают?..

— Другой. И теперь самых этих немцев никак упускать невозможно... Одно слово — скупай и спушшай, скупай и спушшай... Свиньи хватит... Свинья, это прямо надо сказать, — хлеб!.. Это не корова... Да и уход за ей самый, можно сказать, пустяшный... Дал ей спервоначала лузги да мучицы малость... Заправил ее, да жмыхом, жмыхом-то... Ноне жмыху распарь, завтра — просянки, ноне — жмыху, завтра — просянки... Она выручит, брат, она свое отдаст!.. А то корова!.. Какой от ей барыш? — Так, пустошь... Деньгам перевод... — Вот и разочти, — немного успокоившись продолжал Василий Мироныч, — кое масло, кое жмых, кое рушка... помольный постав... Один барыш!.. Знамо — уж судержать себя нужно в строгости, чтоб... Ежели что в долг зря... аль опять в товаре передача... ну там, работникам вперед — ни боже мой!.. Одно слово, надо с умом... Да ноне опять и из эстого хорошо... Как что, сичас в волость... Ну, писарю там...

Старшине... чтоб, значит, рука... И уж тут без опаски. Да чего тут, — благодушно добавил Василий Мироныч, — с нашим народом еще можно жить... С пола-горя... Народ, так надо сказать, не дюже набалован... Совесть знает... Не то что какой чтоб оголтелый... Особливо коли с ним по правде, по-божески... Кровь-то из ево не пить... А то ведь есть и наш брат... Сущий Ирод!.. Норовит тебе мужика-то по миру пустить...

Мне показалось немного странным суждение Василия Мироныча об Иродах; на мгновение я было даже заподозрил его искренность в защите мужика, но одного взгляда на его лицо достаточно было, чтобы убедиться в этой искренности. Вполне убедиться...

— Одно вот сомущает меня, Миколай Василыч, грамоте я не обучен...

— Я и то удивляюсь тебе, Василии Мироныч, как это ты не забудешь своих счетов, не перепутаешь!..

— Это что говорить, — я памятлив... Бога гневить нечего... Только все-таки сподручней бы... Особливо с маслбойкой, — дело мелкое: кому фунт, кому полтора... Как тут запом-

нить!.. А в эфтой мелочи, в фунтах-то, самый барыш и есть... Аль опять расчет... Возьмем хоть свинью, — без расчета с ей никак невозможно... За много куплена, сколько проела, почем пуд легла, как тут без грамоты-то сведешь?.. Просто иной раз в тоску вдашься... И на родителей-то, признаться, попеняешь: чтоб хоть к дьячку, все бы блажей... Не в пример способней ежели письменному... Пытал я еще с молодых годов, чтоб самому обучиться... ну, цыхярь одолел, да на том и стал... Где ж!.. Ученье хорошо смолоду... Вот теперь сынишку в выучку отдал...

— Куда?

— Аль ты не слыхал? Ведь мы ученицу наняли...

Это было для меня новостью. Я знал, что Василий Мироныч чрез посредство своего знакомца, волостного писаря, хлопотал одно время в земстве об открытии школы в Березовке, но хлопоты эти успехом не увенчались, несмотря на то, что березовское сельское общество соглашалось, не только дать помещение для школы, но даже платить часть жалованья учителю. О причинах этого неуспеха

толковали разно. Из компетентных источников мне не удалось узнать об них.

— Где же вы разыскали эту учительницу? Земство, что ль, прислало?

— Какое те земство — пропадай оно совсем с потрохом, — свою наняли!..

— Как же это так?

— Да как бы тебе сказать... с неделю, что ль... пожалуй, с неделю. Сижу я у Гераськи в избе, уж огонь засветили, глядь, в оконницу стучит кто-й-то... Ну, окликнули... просят ночевать... Чьи будете, спрашиваем... «Тамлыцкие...» Куда едете? «С Воронежа, с богомолья, барыня, ахфицерша...» Пустили... Вошла она в избу, разделась... такая разбитная, хоть куда... С нами, это, сразу разговор завела... Про хозяйство, хлеба... Одно слово бой. Не из самых так чтоб из молодых, а ничего... Отец, говорит, в Тамлыке трахтер содержит, вдовый... И она вдова: ишь, за каким-то ахфицером, что ль, была... Гутарим, это, мы, а робятенки посередь избы толкутся... С этого и речь повелась... «Что вы, говорит, робят грамоте не обучаете?» Как же их учить-то, мол? Сами не горазды, а училище — десять верст

почитай... Самим чтоб завести — не вмоготу... Начальство тоже в резонт не принимает... А мы — всей душой... Тоже понимаем... темный человек, к примеру, аль письменный!.. Слово за слово... она и скажи: «Есть мое такое желанье, чтоб, значит, ребят обучать, хотите ваших буду?..» А тут на огонек-то еще кой-кто из суседей подошел... Она, это, нам всем объявила... Мы было, признаться, и усумнились: не насмех ли, мол?.. Ну нет, — взаправду... Как не хотеть, говорим, только первое дело — не вмоготу... заломит, думаем... А она на это нам: «Ну, в эфтом, говорит, мы с вами, старички, сойдемся, коли избу мне отведете, чтоб особняк значит, ну, харчи еще, — вот и ладно... а обучу как след, — с отца рупь...» Чего лучше?.. Только вот барыня-то ты, говорим, може в харчах не угодим как... Смеется. И так это она нас улестла, так улестла... Враз мы с ей и покончили: рупь с головы, хватера и харчи... Думаем, чего лучше? Клад в руки дается... Наутро мы ей и хватеру сготовили.

— Где ж вы ей особняк нашли?

— А Степаниды солдатки... Изба-то у ней хоша невеличка, зато чистая... да и топится

по-белому... А самое Степаниду к Трофиму Кузькину... Чего ей? — Старушка... абы на палатях место было, да хлебово какое ни на есть, тюрьки там аль еще чего... А к ученице сестра Трофимова, Алена, перебралась... Видал? — девка-то... Уж она невеста, поди...

— Видел как-то на жнитве...

— Ну вот!.. Она ей и печку истопит и самовар согреет... Девка промзительная... И ее стала грамоте учить! — засмеялся Василий Мироныч.

— Это вы хорошо сделали, что учительницу наняли... Еще деды наши говаривали: ученье — свет, неученье — тьма...

— Истинно — тьма... Я говорю, свинью возьмем!.. Что ты с ей без грамоты-то поделаешь?.. Аль опять в долг товар распустить... Никак эфтого темному человеку учесть невозможно, а самый тут в эфтом учете и барыш... Да что свинья!.. Куда ни кинь, везде письменному способнее... Условие там писать аль к мировому... Уж в торговом деле никак без эфтого невозможно... Аль опять насчет цен... Вот я как-то, по осени, у Чумакова был, так он те словно по писанному: в Москве цены стоят

вольтотные, говорит: туша по том-то, мука по том... А в Ростове дела замялись, с овсом без спросу, пшеница ни по чем... Просто диву дашься!.. А все — грамота... Вот мальчонка-то обучится и — подсоба... А там пошпынял его маненько по домашности, да в город, в лавку... Пускай к купецкому порядку приобьют... А уж в хрестьянстве — только грех один... Конечно, уж мое дело не молодое, сохи не бросишь, сызмалетства с ей... А что самое подходящее по нонешним временам — торговое дело... Ты сам рассуди: в старину хрестьянство аль ноне!.. В старину-то земли девать не знали куда... Лошадей косяками водили... скотины тьма-тьмуца... А ноне ни тебе земли, ни тебе лугов аль лесу... Одно слово — теснота... Какая уж в хрестьянстве жисть, — склыка одна... И ты посмотри: коли человек тверезый, обстоятельный, — уж он тебе сичас круг заводит... Аль рушку, аль свиной почнет кормить, овец накупит... А не то так посевом займется: у мужиков сымает, у купцов... Аль еще что ни на есть... абы от мира подальше... Я тебе говорю: один грех — этот мир... Как ни то: поналечь ежели, спить

ведра два, тяготу какую ни на есть наложить, — это так, эфто они могут, старички-то поштенные, миряне-то эфти... а коли ежели заступа какая нужна — к примеру, кто изобидел тебя, купец ли, помещщик, аль свой брат мужик, мир-то и не при чем... ступай к мировому, либо в волость... Одна тягота да грех, а чтоб заступы... никакой... окромя с тебя же сопьют...

Э-э, Миколай Василич, — спохватился Василий Мироныч, взглянув в окно, за которым уж густели вечерние тени, — загутарился я с тобой!.. А ведь приехал-то за делом!.. Почем у те земля-то под яровое пойдет?.. По-летошнему, аль уступишь?.. Запиши-ка мне десятин пяток... Да полтинничек-то скинь... пра! Я ведь оброшник-то твой верный...

Я записал Василию Миронычу пять десятин ярового, причем скинул ему полтинничек, потому что «оброшником» он действительно был верным, и, несмотря на отсутствие всяких письменных условий, ни разу не просрочил, ни разу, что называется, не обьегорил меня. Впрочем, я где-то уж сказал, что и крестьяне величали его «мужиком»

справедливым»...

Кажется, уже в начале декабря начались морозы. Грязь на дорогах превратилась в безобразные комья, твердостью равные железу. Ветер, до тех пор постоянно дувший с юго-запада, с «гнилой стороны», переменялся и подул с севера, с Москвы. Тучи все по-прежнему тянулись над печальными полями, но они уж были не синеватые, дождевые, а серые с молочно-белыми окраинами. Мелководные пруды и речки начинали замерзать; особенно замерзали те, которые лежали в крутых или поросших лесом берегах, — в затишье. Целые стада лошадей, коров и овец появились на замерших озимях, разнообразя мертвенно-унылый вид окрестностей.

Зима все еще не приходила. Случалось иногда, что тусклое небо еще более потускнеет, еще гуще и плотнее надвинутся мрачные тучи, и снег мелкими, твердыми, как кристалл, звездочками засеет над полями. Но ветер в это время как нарочно превратится в бурю и с какой-то упрямой свирепостью погонит некстати расщедрившиеся тучи в неведомую даль, и снега снова как не было... Разве в

глубоко проезженных дорожных колеях останется он, и тогда дороги кажутся какими-то траурными каймами на темно-сером фоне неоглядных полей.

Упорное постоянство этих щемящих осенних картин и вечное одиночество в конце концов начали как-то странно действовать на меня. Мысль, измученная тоскливым однообразием направления, в котором ей приходилось работать, словно замерла, заснула... Ничего не хотелось, ничто не волновало, не тревожило, ни во что не верилось... Чувствовалась только тупая, одуряющая тоска, которая казалась самым нормальным состоянием духа. Было еще какое-то безотчетное, инстинктивное стремление к физическому покою, и при этом страшная, непобедимая лень. Если уж ляжешь, то лежишь с утра до ночи, усядешься спокойно — сидишь целые часы.

Я сказал, что чувствовалась тупая тоска; да, именно тупая, без отчаяния, без вздохов, без порывистых восклицаний и проклятий. Собственно даже не думалось, что вот, мол, тоска! а только ощущалось. Формулировать это ощущение, выразить его мысль отказыва-

лась... Повторяю она словно заснула. Впрочем, было, если хотите, какое-то подобие мышления, пародия на него. Взглянешь, например, на потолок — ползет муха; ну, думаешь, вон ползет... «Куда это она?... Ишь, ведь это она к печке пробирается, к теплу...» Или обратишь внимание на ноги: «Гм... один сапог блестит больше другого... С чего бы это?... Должно быть, Семен или заленился, или устал... вон, ишь какое матовое пятно-то около носка...» А то глянешь в окно: на крыше амбара сидит растрепанная галка и бестолково трепыхается крыльями. «Вон, — подумаешь, — крыльями машет... ишь, какая взъерошенная...» И на этом успокоишься. Но и это нехитрое упражнение обыкновенно скоро надоедало мне, и тогда я закрывал глаза и всецело погружался в бессознательное, полудремотное состояние, от чая до обеда, от обеда до ужина...

В одно утро я проснулся раньше обыкновенного. В окна бил яркий свет, виднелось чистое голубое небо. На самоваре, шумливо бурлившем у печки, прихотливо переливались ослепительно сверкающие блики. Чув-

ство невыразимой, почти восторженной радости обняло меня. Какая-то удивительно приятная свежесть волной пробежала по всему организму. Все во мне сразу переменялось. Не говоря уже о нервах, вдруг получивших какую-то, отчасти даже странную, восприимчивость, не говоря о мысли, которая вмиг отрешилась от своей спячки и заработала с давно небывалой энергией, — самое тело, до тех пор дряблое и бессильное, вдруг прониклось неодолимой потребностью к движению, стало упругим и сильным.

— Или снег? — закричал я весело, вскакивая с постели, и Семен весело отозвался:

— Подвалил путек, слава те осподи!.. Близу четверти навалило...

Действительно «слава те осподи!..»

— Когда шел-то?

— Почитай что с полночи... Уж на рассвете перестал.

— Стало быть, пороша есть?

— Надо быть... Как не быть пороше?.. Аль на охоту хотите?

— Чего же сидеть-то? Скажи Михайле, чтоб Орлику овса засыпал, да Копчику.

— Пообедамши поедете?

— Ты скажи Анне, чтоб она наскоро чего-нибудь приготовила. Оттепели-то нет?

— Нет, нету. Морозит.

Через час, закусивши на скорую руку, мы с Михайлой выезжаем на охоту с борзыми. У меня было их только две, но зато, по отзывам знатоков, обе замечательные. Одна, Отрада, — грациознейшее животное, с большими, черными, матовыми глазами и блестящим белым цветом шерсти, длинная, поджарая, на тонких упругих ногах. Другая, Карай, — широкогрудый, вечно угрюмый кобель из породы псовых, с волнистой, довольно длинной седой шерстью и прямой как стрела спиною. Обе собаки обладали просто изумительной резвостью и силою бега. К сожалению, я должен прибавить, что вместе с этим Отрада была страшно труслива и не переносила встречи с волком или даже с лихими дворняжками; Карай же хотя и выказывал отчаянную храбрость в подобных случаях, но зато питал непреоборимую страсть к истреблению кур и яиц... Что делать? Видно, совершенства не ищи в этом мире.

У меня вырвалось невольное восклицание, когда я сел верхом и оглянул знакомые окрестности... Я не узнал их. Вместо вчерашнего серенького, туманного колорита какое-то торжественное сверкание облекало их. Сверкали солнечные лучи, сверкал снег, отражая эти лучи, сверкало чистое, безоблачное небо. Казалось, самый воздух, холодный, но чудно прозрачный, проникнут был этим сверканием... Правда, этот сплошной блеск чрезвычайно скоро утомлял глаза. Им становилось больно даже от одного пристального взгляда на ослепительно белую пустыню, с убийственной ровностью раскинутую на огромное, подавляющее пространство. Но зато там и сям, на голубоватом горизонте, замыкавшем эту пустыню, показались предметы, на которых можно было отдохнуть утомленному зрению. Дали как бы раздвинулись. Завиднелись скрытые до сих пор колокольни окрестных сел со своими ярко позолоченными крестами; показались далекие купеческие хутора со своими высокими ригами и скирдами хлеба; засинелись Малюхинские кусты, отстоящие от хутора не ближе десяти верст;

черною, едва заметною нитью протянулся по южному горизонту казенный лес, до которого считалось еще дальше, чем до Малюхинских кустов; словно из земли выросла Березовка со своими гумнами, с ветлами, опушенными снегом, с черными трубами, резко выдававшимися на белых крышах...

Вся снеговая равнина, все эти колокольни с огоньками, сверкающими на крестах, все эти хутора, кусты, лес, Березовка — все словно было погружено в глубокий, невозмутимый сон. Ни одного звука не тревожило торжественной тишины... Блеск и тишь — вот картина. Не хотелось громко выговорить слова, вскрикнуть, зашуметь, — одним словом, каким бы то ни было образом нарушить эту тишину, пробудить ее. Чувствовалось, что всякий звук — если он не принадлежит кому-нибудь небожителю — был бы оскорблением чему-то дорогому, близкому, какой-то святыне... Природа казалась храмом, тишина благоговейной тишиной этого храма, тишиной, в которой уместны лишь кроткий шепот молитвы да стройное, умирительно-прекрасное пение клира, тишиной строгой и вместе

величавой...

По крайней мере, первое мое впечатление было именно таково. Конечно, через полчаса, через час оно сгладилось, стусебалось, оставив по себе очень смутный след...

Напутствуемые благими пожеланиями Семена, мы тронулись. Лошади, застоявшиеся на конюшне, ретиво рвались на поводах и жадно вдыхали широко раскрывавшимися ноздрями морозный воздух. Собаки, как шальные, бешено скакали вокруг лошадей, тучами взрывая снег. Даже Карай бросил на этот раз свою обычную угрюмость. Кухарка Анна, особа нрава меланхолического, вышедши провожать нас, оглянула из-под руки поле, сладко прищурилась и растроганным голосом соблаговолила вымолвить: «Эка, господи, благодать-то!», после чего, как бы раскаявшись в своей излишней разговорчивости, торопливо отерла грязным передником нос и ушла в кухню.

Не проехав и версты от хутора, мы напали на заячий след. Он шел по направлению к Березовке. Собаки, увидев след, перестали забегать вперед лошадей и степенной трусцой по-

бежали позади нас. Не доезжая до Березовки лежала окладина; след терялся в ней среди высоких кочек, поросших шиповником и мелким, корявым осинником. На минуту мы остановились в недоумении среди окладины. Собаки обнюхивали кусты и суетливо перебежали между кочками... Вдруг страшный крик Михайлы: «Заяц, заяц!» раздался около меня, и я увидел на противоположной стороне окладины ком чего-то серого, с изумительной быстротой удиравшего от нас. Лошади горячо рванулись, испуганные криком, собаки бестолково заметались... Еще мгновение — и Орлик, почуяв удар в бока, в два-три бешеных скачка через кочки, через кустарник вынес меня из окладины. Собаки увидели зайца и неистово помчались ему наперерез. Михайло, нещадно погоняя Копчика, орал невыразимо диким и нелепым голосом: «Ату его, ату, ату!» и почти не отставал от собак. Я несся вслед за Михайлой, тщетно напрягая все силы, чтобы хоть немного умерить пыл Орлика. Но повода до боли резали мне руки, а он, судорожно закусив удила, летел как бешеный.

Не ушел от нас злосчастный зверек, не

ушли и еще два. Наконец и нам и лошадям нашим надоела охота... Собаки, и те, кажется, усердствовали больше по обязанности, чем по желанию. Ретивость у всех поостыла. При том же, мне ужасно захотелось пить. Почему-то я вспомнил рассказ Василия Мироныча про учительницу, нанятую березовцами. Что это за офицерша такая, вдруг возымевшая желание обучать грамоте крестьянских ребят-шек? Во всяком случае, барыня интересная... Березовка лежала на перепутье, и я решил просто-напросто заехать к офицерше и познакомиться. «Кстати, там и чаю где-нибудь напьюсь, — думалось мне, — если не у нее, то у Василия Мироныча; самовар у него, кажется, водится».

— Где у вас учительница-то живет? — спросил я бабу, встретившуюся нам при въезде в деревню.

— А ты, Миколай Василич, проезжай по порядку-то, — низко кланяясь, отвечала, по видимому узнавшая меня, баба, — да и заверни к гумнам. Около гумен-то и стоит ее хибарка. Еще плетенюшек около ей...

Деревенские собаки с дружным лаем бро-

сились на моих борзых. Баба и попыталась было разогнать их, но задорные Волчки, Шавки, Шарик не обратили ни малейшего внимания на эту попытку и упрямо задирали невозмутимо шествовавшего Карая, хотя приближаться к нему слишком близко и не смели. Что же касается Отрады, то — увы! — она во все силы своих лопаток позорно удирала к хутору, явственно видневшемуся из Березовки. Ребятишки, игравшие на противоположном конце деревни в снежки, с веселым гамом направились к нам, но, узнавши во мне «соседнего барина», ограничились одним рассматриванием зайцев, беспомощно трепавшихся в тороках, да односложными замечаниями, вроде того, что, мол, «экия у него уши-то, робята... бо-о-льшущие!» но травить Карая и кидать в него снежками не осмеливались — робели.

Изба, в которой жила и учила ребятишек «офицерша», резко отличалась от обыкновенных деревенских изб. Она была на довольно высоком кирпичном фундаменте, из хорошего соснового леса, с маленьким крылечком и светленькими створчатыми окнами. Покрыта

она была не обыкновенной соломой, а сторновкой, что придавало ей чрезвычайно уютный вид. От деревни до нее было порядочное расстояние, сажень пятьдесят, а может — немного и больше.

Муж той солдатки Степаниды, которой принадлежала эта изба, каким-то образом принес из службы порядочные деньжонки, часть которых и убил на постройку избы, намереваясь открыть в ней кабак, но остальные деньжонки ушли у него целиком на какое-то нелепейшее предприятие, и солдат умер, оставив жену нищей в красивой избе. Почему уж она не продала ее — я не знаю. Вероятно, не успела.

Передав лошадей Михайле, я вошел в избу. Внутренность ее опять-таки была не похожа на внутренность крестьянской избы. Гладкий деревянный пол был чисто вымыт и покрыт узенькими дерюжными половиками, за тесовой перегородкой виднелась небольшая выбеленная печка с лежанкой. На окнах висели кисейные занавески и стояли горшки с какими-то цветами; на стене, между окон, — около десятка фотографических карточек, вставлен-

ных в рамки из разноцветных раковин.

В избе никого не было, кроме девушки в обыкновенном крестьянском костюме. Это была сестра Трофима Кузькина — Алена. Я видел ее мельком еще летом, на жнитве, но теперь не узнал, а больше догадался, благодаря рассказу Василия Мироныча о том, что она перебралась к офицерше. На вид ей было лет шестнадцать, если судить по узеньким, почти детским плечам, тонкому, худому стану и не развившейся еще груди. Но при взгляде на лицо, и особенно на глаза, ей можно было дать, пожалуй, и двадцать лет. Глаза эти были какие-то темные, строгие и необыкновенно пытливые. Вообще и выражение всего красивого, смуглого личика было серьезное, а отчасти, пожалуй, и суровое. Особенно помогали этому постоянные складочки между черными, густыми бровями и всегда как будто сжатые губы. Я уж сказал, что лицо у нее было красивое. Нужно добавить, что оно было очень красиво и что главное — необыкновенно привлекательно своим строгим, серьезным выражением и пытливым взглядом глаз из-под полуопущенных длинных ресниц. Ко-

гда она усмехалась, — что было очень редко, — глаза эти вдруг загорались каким-то чрезвычайно задорным огоньком, который и пропадал мгновенно, так что долго думалось, не обман ли зрения это прихотливое сверканье...

Когда я вошел, Алена с усердием чистила небольшой самоварчик. Увидав меня, она мгновенно, незаметным почти движением руки, ототкнула высокоподобранную юбку и смахнула рукавом рубашки пыль с лица, но нисколько не оробела и не сконфузилась.

— Что, Алена, аль нет хозяйки-то твоей? — спросил я.

— Нету.

Говорила она отрывисто и как будто нехотя, причем окончание слов почти не выговаривала. Голос у ней был высокий и немного резкий, особенно когда разговор ей не нравился; он тогда становился даже сердитым и грубым.

— Куда же это ее унесло? — пошутил я.

— В Подлесном, — нимало не усмехнувшись, ответила Алена, как-то нервно хмуря брови.

— К кому?

— К попу.

— Стало быть, и ребята болтаются.

Она удивленно вскинула на меня глазами.

— Ведь праздник ноне...

Я только теперь вспомнил, что был какой-то праздник, — впрочем, не из больших.

— Как же, Алена, чайку бы мне напиться?

— За братцем Трофимом схожу, — сказала она, еще более хмурясь.

Я ничего не имел против этого. Мне и самому становилось как-то неловко наедине с дикаркой-девушкой.

Только что она, накинув на голову шушпан⁽⁴⁾, собиралась выходить из избы, как на крыльце послышались голоса. Оказалось — пришел Трофим, который откуда-то с гумна увидел наших лошадей, привязанных к крыльцу.

Между Трофимом и Аленой не было почти никакого сходства. У одной в темных, полузакрытых длинными ресницами глазах вечно светилась какая-то упорная дума, и на всем лице лежал отпечаток несомненно серьезной внутренней работы; у другого был ясный, без-

мятежный взгляд, иногда немного грустный и рассеянный, но чаще всего полный какой-то тихой, ласковой радости. Бледное лицо, обрамленное черной лохматой бородкой, не носило на себе следа ни мучительной заботы, ни мысли глубокой, — как и взгляд, оно было безмятежно и ласково. Он был, наверное вдвое старше сестры, а может быть, даже и больше.

Одет он был плоховато. На ногах — лапти, хотя и новые, полушубок кой-где порванный; но рубашка сквозила в эти дыры — чистая, да и вообще, несмотря на бедность одежды, грязи на ней заметно не было.

Василий Мироныч, «справедливый» Василий Мироныч, отзывался о Трофиме не иначе, как о мужике «блажном». Хотя, называя его так, он ничуть не переменял своего добродушного тона, да и на самом деле между ним и Трофимом никаких неудовольствий, сколько мне известно, не бывало. Трофим же, величая Василия Мироныча «делягой», «умнейшим мужиком», никогда не называл его «справедливым», хотя я и не слыхал, чтоб он назвал его когда-нибудь «несправедливым»

или вообще отозвался бы об нем дурно. Несомненно, что между ними была некоторая антипатия, которую, по всей вероятности, они и сами чувствовали только инстинктивно, — может быть, даже не сознаваясь в ней самим себе.

Мир относился к Трофиму разное. Он то возносил его, то ни во что не ставил, хотя последнее делал отнюдь не с презрением, а так как-то — любя. В давние времена березовцы, — не нынешние березовцы, а предки их, — благодаря особым, исключительно экономическим условиям, которых я тут касаться не буду, выработали в себе пожалуй что и из ряду вон выходящие общинные инстинкты: «дружность», стойкость, сочувствие к своему брату — мирскому человеку. Лет за десять перед освобождением от крепостной зависимости условия, благоприятствующие развитию этих общинных, мирских инстинктов, круто изменились. Мир пошел вразброд, начал разлагаться... Березовцев соседи уж перестали звать «дружными», «мирскими людьми»... Некоторые события, совершившиеся во время самого «освобождения», вызвали было опять

эту «дружность» на свет божий, и даже в необычайной силе, но не надолго...

Дело все-таки в том, что у березовцев были, — хотя и смутно сознаваемые и вдобавок почти перезабытые, — традиции, предания прежней «дружной» жизни, прежнего общинного порядка. Усердным хранителем и ревностным поборником этих преданий старого, «дедовского» порядка был Трофим. Вот за это возносил его мир. Тут еще пояснение. Мир возносил Трофима, как знатока и поборника старых преданий, не потому, чтобы и сам был проникнут духом этих преданий, нет, этого совсем не было. Он возносил его потому, что чувствовал какое-то младенческое, наивное благоговение перед ними, — благоговение, похожее, пожалуй, на ощущаемое перед какой-нибудь святыней, даже с примесью некоторого суеверия. Но вместе с этим суеверным благоговением перед стариною, перед общинностью, если выразиться языком интеллигентных людей, — известно, что слова «община», «общинность» между крестьянами не употребляются, — мир и не пытался подражать ей, не пробовал жить по старине. По его:

«Не те ноне времена!.. Тогда житье было совсем особенное. Одно слово — вол!»

Свои идеалы, свои надежды мир и теперь складывал по образцу «старинного» порядка, но в своей настоящей жизни, и экономической и нравственной, он не только не подражал ему, но даже не без тонкости осмеивал тех, которые подражали или хотели подражать. Вот Трофим-то именно и был из этих хотевших подражать старине, и тут уж мир ставил его не высоко; и если не величал его вслед за Васильем Миронычем — «блажным», то все-таки, так сказать, обходил его, игнорировал, если употребить очень здесь подходящее иностранное слово, то есть «ни во что не ставил — любя», как я уж и сказал где-то выше.

У самого же Трофима предания, касающиеся собственно чисто практических отправлениях былой общинной жизни, как-то, невообразимо переплелись с религиозной и нравственной подкладкой этой жизни. Из этого сплетения получилось у него какое-то, для постороннего наблюдателя, чисто хаотическое мировоззрение. Как уж он в нем разбирал-

ся — положительно не могу понять. Думается мне, что и сам он не мог бы указать ясно и решительно границ своего оригинального мировоззрения. Не только границы, но и все-то оно было для него, несомненно, смутным, неопределенным, туманным, за исключением самого корня, основы, с которой сбить его было невозможно. Основа эта в его речах выражалась так:

— Мир — великое дело... чтоб, значит, собча... по правде... по-божьему... к примеру — всем чтоб в досталь, без обиды... Все мы люди, все — человеки... Надо, все чтоб тихо... без озорства...

А вот, отправляясь от этой-то основы, от этого-то корня, он и забирался в невылазные дебри, которые, надо правду сказать, стоили ему много тяжелой умственной работы, хотя следов этой работы, как я уже сказал, на его лице заметно не было. Был он неграмотен, но в последнее время начал учиться. Учился почти тайком: где-нибудь в риге, в амбаре, осторожно выпрашивая при случае: «Как складываются эти буквы? Как выговаривается это слово?» — Это, конечно, я узнал уж впослед-

ствии.

Еще черта. Он чрезвычайно неприязненно относился ко всякого рода новшествам, например к железным дорогам, ссудо-сберегательным кассам, земледельческим машинам, особенно хитрого устройства, и т. п.

Мне кажется, нечего и добавлять о том, практичен ли был Трофим в обыденной жизни. Практичным он не был. Жил бедно; хозяйство, несмотря на все его старание, шло у него с грехом пополам. На счастье, семья у него была небольшая: сестра Алена да вечно больная старуха мать. Жены у Трофима не было — умерла тому назад лет семь. Говорили, что была она баба распутная и гуливала шибко, с мужем же почти не жила, хотя где-нибудь в кабаке без слез, — может быть, и пьяных, — говорить об нем не говорила.

— Эх, зайчиков-то напрасно загубили? — мягким голосом говорил Трофим, когда я выходил из избы на крыльцо.

— Небось тоже где ни на есть дружки остались, — продолжал он, с жалостью рассматривая заячьи морды, облитые кровью.

— Так, по-твоему, выходит, что и барана

зарезать нельзя — тоже дружка останется! — засмеялся Михайло.

— Известно, ежели рассудить по-божески, ни след и овечку губить — все кровь в ей, как ты хоть...

— Как бы нам самоварчик оборудовать, Трофим? — прервал я его философию.

— Здорово будешь, Миколай Василич, — поклонился он мне, — что ж, эт можно — отча чайку не попить... Аленушка! — закричал он сестре, наставь-ка самоварчик-то! Чайку Афросинь-Гавриловпа оставила ай нет? А то я к Василью Миронычу добегу.

— Есть, оставила, — ответила Алена и захлопотала над самоваром.

— Ну, вот и попьетесь! — заметил мне Трофим добродушно.

— Ну что, как, ребятишки-то учатся? — спросил я.

— Ничего себе: вникают помаленьку... как не вникать... Ну и то надо сказать — учит она как след... по совести... Не то чтоб как зря...

Мы вошли в избу. Трофим благоговейно перекрестился на икону, старательно обтер снег с лаптей и осторожно уселся неподалеку

от двери.

— Что, мужики-то ваши все дома?

— Нет, малость какие дома-то, все больше в отлучке...

— Где же?

— Да иные работки поискать поехали, под условия, значит... Иные сено повезли на подторжье, овсишко, — благо путек... А то под извозы рядиться к Чумакову...

— Это ему куда же?

— В Козлов, кажись... Чугунка-то, ишь, не справляется возить-то, так он пшеницу гужом хочет доправить.

— Кто ж поехал рядиться-то?

— Петруха Булатов да Митяй Чиликин.

— Это они что же, для всей деревни ряду-то возьмут?

— Как же, дожидайся!.. Не те, видно, ноне времена, чтоб порадеть для мира-то... Ноне всяк себе норовит где ни на есть кусок урвать... а не то чтоб для мира!.. Это уж бабы проболтались про мужьев-то — куда поехали... А то и уедут таючись, никому не скажутся... А возьмут там ряду да опосля и набирают в артель... поднес им там, аль деньгами поло-

жат что с себра, ну и примают...

Самовар скоро вскипел, и мы благодушествовали за ним втроем: я, Трофим и Михайло. Алена не показывалась из-за перегородки. Михайло сесть к столу не решился и пил чай, держа чашку в руках, что, вероятно, стоило ему немалых огорчений.

— А что, Миколай Василич, — говорил за чаем Трофим, — я так помекаю: времена ноне — самые что ни на есть развратные... Ты как полагаешь?.. Сказано — брат на брата, так вот оно и есть... Ну, купцы там аль господа в разврат пошли, это уж им такой предел положон: сыспокон веку у них так водится, чтоб все в одиночку... сусед под суседа ямы копать... Ну, а наш-то брат, мужик, посмотришь... Ни тебе какого ни на есть согласия, ни тебе артельности... А уж я так своим глупым разумом думаю: коли мужику да ежели друг за дружку не стоять — пропащее дело... Что у него? У купца, как-никак, капиталы... у барина — земля аль жалованье какое полагается. А у мужика только и наживы, что недоимка да неотработка... Всякому свой предел положон, ежели ты, значит, купец, ну — тор-

гуй, барин — землей владей... А уж как ты хрестьянин, так хрестьянином и будь... Чтоб, к примеру, как Христос-батюшка повелел... Он, батюшка, претерпел — и ты терпи... Он за мир душеньку свою положил, и ты за мир стой... а не то чтоб какой кус урвал да один и сожрал... Ежели ты, будучи мужиком, хрестьянства от господа бога удостоен, так не ежели тебе в разврат с миром ийти... Я так полагаю...

— Да разве «хрестьянин»? Ах, Трофим, Трофим... Ведь мужик-то хрестьянином зовется, а христиане, или, по-твоему, «хрестьяне», мы все одинаковы, и барин, и купец, и мужик...

— Нет, это ты не так, Миколай Василич! — упрямо перебил меня Трофим. Потому как Христос-батюшка терпел и за мир пострадал, так он и мужикам узаконил... Стало быть, они хрестьяне и есть... А ежели ж мужик от хрестьянства отбивается, ну, значит он Христу — раб лукавый... потому мир на мамону променял... И нет, я тебе скажу, греха тяжчее, как ежели мир продать аль супротив его возгордиться... Ах, сколь тяжек грех энтот!..

Вот, я тебе скажу, деды наши, ну, точно что

крестьяне были... заправские... Все-то у них без обиды, все-то у них по правде, поровну... Беда ли какая навалится — весь мир стерпит ее, беду-то, сообщча... а не норовит, чтоб по-нонешному: я — не я, и доля не моя... Потому и беда, напасть какая, не иначе как от господа бога. И надо ее претерпеть... можа, бог веру нашу пытая, бедой-то... Всё от бога... Аль возьми ты, таперча, работу... какая была!.. Не нонешней чета... И барщина и своей-то невпроворот. А всё бог милослив — справлялись... А почему?.. Дружно все!.. Всем миром... Опять некруты, аль оброк, аль баловство какое, — ну, проворуется там кто аль еще как сбедокурит, — мир все рассудит... никого не обидит... И уж этого чтоб непокорства — ни-ни!.. В страхе жили, закон наблюдали как следует, по-хрестьянски... А теперь какой закон! — Один разврат... — Так, положим — мировой. Ну, может ли он мужика рассудить?.. Он судит по книжке, а мужику эфтого не нужно, мужику — чтоб по закону... Купца аль барина — ну, это так... это он может... А теперь возьми — мужик купцу по условию не отработал... сичас у него — клеть... аль корову с дво-

ра... Вот он, мировой-то! А рази это закон?.. Он сперва разбери, с чего мужик не отработал.. Можя, ему не токма что работу сполнять, а хошь давиться, так в пору... А мировой эфтого понять никак не может... потому человек он чужой, сторонний... По письму-то он, можя, и зная, а уж хрестьянского-то порядка, мирско-го-то, и нет... Даром что мировой!

— Вот ты все мирового корить, — сказал я, — ну, а ваш-то, крестьянский суд-то лучше, что ль? В волости-то?

— Да ведь и я про то же, Миколай Василич... Что одно слово разврат... брат на брата... В старину, сказывают, и судов-то этих совсем не было... Вершили миром... чтоб, значит, по правде... по божьему... Вот те и суд весь... Вон у меня в запрошлом году дедушка помер, можя сто годов ему... так он что, покойник, порасскажет, бывало... У нас, говаривал, не токма что начальство какое, судьи там аль сотские, у нас и староста-то только по званью был... А то все мир, старики... Как что положат, так тому и быть... А чтоб до суда там — и в жисть не доваживалось... Раз мертвое тело нашли; так мир-то собрался и поре-

шил: заседателю чтоб триста целковых... Тогда какие-то заседатели были, вроде как, к примеру, становой у нас... Разложили, с кого сколько, да и отвалили... Этим и отошли от суда... Вот как в старину-то!.. А ноне что... Ноне не токма что застоять, а потопить норовит всякий... абы самому сухому из воды выбраться...

Трофим махнул рукой и сокрушительно вздохнул.

— Душу по нонешним временам загубить — плюнуть! — продолжал он после непродолжительного молчания, в течение которого грустно и вдумчиво смотрел куда-то в сторону. — Возьмем теперь хошь грамоту... Коли ежели с совестью, ну, так! — окромя спасенья ничего... Ну, а с другой стороны — самое распропащее дело... Ты так рассуди — писарь!.. Что он может?.. Он то и в остроге сгноит и в Сибирь сгонит... Самый погибельный человек!.. Аль опять купец — условие тебе напишет — разор один темному человеку... Он тебе там и неустойку... он тебе и штрах... А ты отдувайся... И, стало быть, по нонешним временам мужику без грамоты никак невоз-

можно... Ну-ка, будь я грамотный-то: он меня в острог подведет, а я ему — не хошь ли, мол, рожна... он мне штраф проставит, а я ему — не лучше ли, купец, врозь... Вот оно какое дело!.. Аль миру подвох какой, — сичас грамотный человек разобрать это может... Аль по нонешним развратным временам — наставить в чем... от божественного там аль так из книжек... Все может!..

Ну только, говорю, и душу загубить уж так-то легко, так-то легко, а-ах!.. Вот, не в осуждение сказать, Василий Мироныч свово сынишку обучает... Куда он его прочит?.. Прямо, значит, мир распорушивать, кулачить... ишь, грамотному-то оно способнее, на мир-то плевать!.. Вот она душе-то и пагуба... А уж сказано: блажей жернов привесить на шею да утопиться, нежели малого ребенка сомущать, на грех наводить... Уж темному человеку, можа, по неразумию прощение выйдет... такой, значит, ему предел положон, чтоб, к примеру, грех сотворить, ну, а грамотному-то и горько... а-ах, как горько!..

Трофим тяжело вздохнул и задумался, а потом продолжал, впадая в чрезвычайно скорб-

ный, как бы ноющий тон:

— И где ж это правда-то, правда-то делась, милый ты мой человек!.. Куда-то ни поглядишь: все-то тебе грех... все-то тебе — содомушка... И как словно забыли, забыли, есть ли и божинька-то на небе... Тот грабит, тот разбойничает... И все, братец ты мой, какие-то холодные стали... словно железные они аль каменные... Господи ты мой, боже мой, аль уж и взаправду последние денечки пришли!.. Сын на отца... брат на брата... Народ болеет... нудится... Мир врозь пошел... Везде-то горюшко... везде-то смута... Аль уж спас милосливый разгневался на нас, окаянных? А-ах, милосливый, милосливый...

А иной раз так-то подумаешь, подумаешь, и кабыть радость какая на тебя найдет... Нет, милослив он, подумаешь... Не до конца прогневался... И зимушку дает по-прежнему... и жары ко время посылает... и дождичка... Мы вон, было, и отчаялись, а он, ишь, благодать-то наслал!.. — Трофим указал в окно, за которым расстилалось широкое снежное поле, подернутое в то время розовым светом заходящего солнца. — Не забывает нас... А уж

мы-то, окаянные, — закаменели... Нет у нас этого, чтоб стоять-то друг за дружку... Завет-то Христов забывать мы стали... Душу-то свою за мир не кладем... А он, батюшка, все дает... бери только с умом... И так скажу: придут времена, возьмемся и мы за ум... Душу свою соблюдай, — говорит милосливец-то, а то все тебе препоручу... И опять: коли ежели один праведник — целое царство помилую... Ну, вот ты и подумай: аль уж в крестьянстве праведника-то одного не найдется?.. Аль уж душа-то у всех сгинула?.. Аль уж не найдется ее, души-то... чтоб за мир, к примеру?..

Трофим замолчал в тихом раздумье.

А мне припомнилась степенная фигура Василия: Мироныча, его положительный, солидный разговор, его определенное, законченное мировоззрение... «Ведь вот от одного корня, — думалось, — из одной стороны, из одной среды, из одной деревни даже, при одинаковых условиях росли, одинаковые напасти испытывали... И вышло какое-то недоразумение... С одной стороны: „главное дело — свинья“, с другой — „мир“... За кем победа? За кого „будущее“?..»

Михайло отирался полою полушубка, доканчивая чуть ли не двадцатую чашку. Из-за перегородки по временам выглядывало озабоченное лицо Алены. Она уж два раза доливала нам самовар, и теперь, вероятно, замечала, не нужно ли долить в третий? Лицо ее ни разу не теряло ни своей строгой серьезности, ни задумчивости. Только раз она усмехнулась, когда Михайлу угораздило пролить на полушубок блюдечко с чаем.

Уехал я из Березовки, когда уж закатилось солнце, прогорела короткая зимняя заря и синее звездное небо повисло над снежной пустыней. Офицерши так я и не дождался.

Примечания

1

Испорченный ребенок (*франц.*).

[^^^]

Комментарии

Удельные междоусобицы были последствием удельного порядка, водворившегося в Суздальской Руси в XIII–XIV веках, когда каждый князь распоряжался своим уделом как вотчиной, строил козни против других князей и помышлял лишь о том, чтобы «примыслить» что-либо от своего соседа.

[^^^]

2

Рушка — крупорушка для очистки зерна.

[^^^]

3

Бадик — палка, посох, трость, хворостина.

[^^^]

Шушпан — женская кофта с перехватом, обычно суконная (воронежское, тамбовское). Другие названия — шугай и шушун.

[^^^]